

三島由紀夫

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

О Золотом Храме еще в раннем детстве рассказывал мне отец.

Родился я на отдаленном мысе, сиротливо уходящем в море к северо-востоку от Майдзуру. Отец был родом из других мест, его семья жила в Сираку, восточном пригороде Майдзуру. Уступив настояниям родных, он принял сан священника и стал настоятелем захолустного прибрежного храма. Здесь он женился, здесь появился на свет его сын — я.

На мысе Нарии не имелось даже школы, и, едва сойдя с колен матери, я был вынужден покинуть отчий дом и поселиться у дяди, брата отца, в Восточном Майдзуру. Там я и стал ходить в гимназию.

Родина моего отца оказалась краем, где круглый год щедро сияло солнце, но в ноябре и декабре по нескольку раз в день с небес — какими бы синими и безоблачными они ни были — низвергался холодный осенний дождь. Уж не коварству ли погоды тех мест обязан я своим непостоянным и переменчивым нравом?

Майскими вечерами, вернувшись после уроков в дядин дом, я, бывало, сидел на втором этаже, в комнатке, отведенной мне для занятий, и глядел из окна на окрестные холмы. В лучах закатного солнца их склоны, укрытые молодой листвой, казались мне

похожими на расставленные кем-то позолоченные ширмы. Я смотрел на них и представлял себе Золотой Храм.

Мне, конечно, много раз попадались фотографии и картинки в учебниках, на которых был изображен знаменитый храм, но в глубине души я представлял его себе совсем иным — таким, каким описывал его отец. О, он не говорил, что от стен святилища исходит золотое сияние, но, по его убеждению, на всей земле не существовало ничего прекраснее Золотого Храма, и, вслушиваясь в само звучание двух этих слов, завороченно глядя на два заветных иероглифа, я рисовал себе картины, не имевшие ничего общего с жалкими изображениями в учебнике.

Стоило мне увидеть, как ослепительно вспыхивает на солнце гладь дальних заливных полей, и мне уже казалось, что это отсвет невидимого Золотого Храма. Горный перевал, по которому проходит граница нашей префектуры Киото и соседней Фукуи, высился прямо на восток от дядиного дома. Из-за тех гор по утрам восходило солнце. И хотя Киото располагался совсем в иной стороне, каждый раз мне чудилось, что в солнечном нимбе в утреннее небо возносится Золотой Храм.

Храм, оставаясь незримым, виделся мне во всем, и этим он был похож на море: деревня Сираку находилась в полутора ри<sup>1</sup> от побережья, и Майдзурская бухта лежала по ту сторону гор, но близкое присутствие моря ощущалось постоянно — ветер доносил его запахи, в непогоду тысячи чаек прилетали с берега и садились на рисовые поля.

---

<sup>1</sup> Мера длины, равная 3,927 км. (Здесь и далее примеч. перев.)

Я был хилым, болезненным ребенком, самым что ни на есть последним во всех мальчишеских играх и забавах. Это да еще мое врожденное заикание отдаляло меня от других детей, развивало замкнутость и любовь к уединению. К тому же все мальчишки знали, что я сын священника, и их любимым развлечением было дразнить меня, изображая, как заикающийся бонза бормочет сутры. На уроках чтения, если в книге действовал персонаж-заика, все его реплики непременно зачитывались вслух — специально для меня.

Неудивительно, что заикание воздвигало стену между мной и окружающим миром. Труднее всего давался мне первый звук слова, он был вроде ключа от той двери, что отделяла меня от остальных людей, и ключ этот вечно застревал в замочной скважине. Все прочие свободно владели своей речью, дверь, соединяющая их внутренний мир с миром внешним, всегда была нараспашку, и вольный ветер гулял туда и обратно, не встречая преград. Мне же это раз и навсегда было заказано, мне достался ключ, изъеденный ржавчиной.

Заика, сражающийся с первым звуком слова, похож на птичку, бьющуюся в отчаянных попытках вырваться на волю из силка — силка собственного «я». В конце концов птичка вырвется, но будет уже поздно. Иногда, правда, мне казалось, что внешний мир согласен ждать, пока я бьюсь и трепещу крылышками, но, когда дверь удавалось открыть, мгновение уже утрачивало свою неповторимую свежесть. Оно увядало, блекло... И мне стало казаться, что иначе и быть не может, — поблекшая, подгнившая реальность в самый раз подходит такому, как я.

Нет ничего странного в том, что в отрочестве меня преследовали соблазнительные и противоречивые грезы о власти, вернее, о двух разных видах власти. То, начитавшись исторических романов, я воображал себя могущественным и жестоким владыкой. Он заикается и поэтому почти всегда молчит, но как же трепещут подданные, живущие в постоянном страхе перед этим молчанием, как робко заглядывают в лицо своему господину, пытаясь угадать, что их ждет — гнев или милость? Мне, государю, ни к чему оправдывать свою беспощадность гладкими и звучными фразами, само мое молчание объяснит и оправдает любую жестокость. С наслаждением воображал я, как одним движением бровей повелеваю предать лютой казни учителей и одноклассников, мучивших меня в гимназии. И еще нравилось мне представлять себя владыкой иного рода — великим художником, повелителем душ, молча созерцающим Вселенную. Так, несмотря на жалкую свою наружность, в глубине души я считал себя богаче и одареннее всех сверстников. Да это, наверное, и естественно — каждый подросток, имеющий физический изъян, мнит себя тайно избранным. Не было исключением и я — я знал, что впереди меня ждет пока неведомая, но великая миссия.

...Мне вспоминается такой случай.

Гимназия находилась в новом, светлом здании, удобно расположившемся на широком пространстве меж плавных холмов.

В один из майских дней к нам в гимназию пришел бывший ученик, а ныне — курсант Майдзурского военно-морского инженерного училища, отпущенный домой на побывку. Мне этот юноша казался молодым

богом, до того он был хорош: загорелое лицо, надвинутая на самый нос фуражка, мундир с иголочки. Гимназисты обступили курсанта плотной толпой, а он живописал им тяготы военной жизни. Однако в его устах убогая эта жизнь представляла захватывающей и героической. Вид курсант имел весьма важный и на гимназистов поглядывал снисходительно, свысока. Грудь колесом, затянутая в расшитый мундир, напоминала резную фигуру на носу корабля, рассекающего океанские волны.

Курсант сидел, небрежно развалившись, на каменных ступеньках лестницы, ведшей на плац. Вокруг собралась кучка замороженных слушателей, раскинувшийся на склоне цветник пылал майскими цветами — тюльпанами, душистым горошком, анемонами, маками. Выше, над лестницей, благоухала усыпанная белыми цветами магнолия.

Группа, собравшаяся на ступенях, застыла неподвижно, как изваяние. Я же сидел один, немного в стороне, на скамейке, в почтительном благоговении — перед великолепием майских цветов, гордого мундира и громких, веселых голосов.

Однако молодой бог все чаще поглядывал в мою сторону. Видимо, он счел, что я один не признаю его превосходства, и чувствовал себя слегка уязвленным. Он спросил у восхищенных гимназистов, как меня зовут, и крикнул:

— Эй, Мидзогути!

Я молча смотрел на него. Курсант снисходительно рассмеялся:

— Ну, что молчишь? Или ты глухой?

— Я з-з-з-заика, — передразнил меня один из соучеников, и все остальные зашлись от хохота. Как ослепителен издевательский смех! Звонкий, по-дет-

ски жестокий хохот моих одноклассников всегда напоминал мне вспыхивающие на солнце стебли травы.

— Так ты заика? Надо тебе в наше училище поступать — там из тебя эту дурь в два счета выбьют.

И тут ответ выскочил у меня сам собой, помимо моей воли, я даже не заикнулся:

— Нечего мне делать в училище. Я стану монахом.

Все умолкли, а молодой бог, наклонившись, сорвал травинку и сунул ее в рот.

— Понятно. Значит, через год-другой придется тебе молиться за упокой моей души.

В ту пору война на Тихом океане уже началась.

...Внезапно на меня снизошло нечто вроде озарения. Мне представилось, что я стою один перед темным миром с широко распростертыми руками. И что весь этот мир — и его майские цветы, и блестящие мундиры, и мои безжалостные одноклассники — в один прекрасный день сам упадет в мои ладони. Мне открылось, что мир крепко схвачен мною, зажат в моих руках... Откровение не вызвало во мне чувства гордости, слишком уж тягостным было оно для подростка.

Гордость — нечто более легкое, светлое, открытое глазу, искрящееся. Мне хотелось обладать чем-то таким, что давало бы мне право гордиться и было видно каждому. Хотя бы кортиком, висевшим на поясе у него.

Кортик, на который с благоговением взирали гимназисты, действительно был хорош. Поговаривали, правда, что курсанты нередко затачивают своими кортиками карандаши, но до чего же это было лихо — использовать столь гордый символ для дела тривиального и низменного!

А потом мундир курсанта инженерного училища был повешен на выкрашенный в белый цвет забор. Там же оказались брюки, рубашка, нижнее белье... От всей этой одежды, развешанной меж цветов, пахло молодым потом. На сиявшую ослепительно-белым цветом рубашку опустилась пчела. Украшенная золотым галуном фуражка была водружена на одном из прутьев изгороди так же ровно и основательно, как если бы она красовалась на голове своего владельца. А сам курсант отправился на посыпанный песком ринг для сумо<sup>1</sup> — кто-то из гимназистов предложил ему побороться.

Я смотрел на снятую одежду, и мне казалось, что я вижу перед собой некую увенчанную славой могилу. Обилие майских цветов еще более усиливало это впечатление. Лирическим очарованием веяло от фуражки со сверкающим черным лаком козырьком, от кожаной портупей и кортика — отделенные от тела своего хозяина, они были не менее совершенны, чем он сам. Мне они казались реликвиями, оставшимися после гибели юного героя.

Оглядевшись по сторонам, я убедился, что поблизости никого нет. Со стороны ринга доносились азартные крики. Тогда я достал из кармана ржавый перочинный ножик, подкрался к забору и сделал на прекрасных черных ножнах кортика несколько уродливых царапин...

Быть может, прочтя эти строки, читатель решит, что я был мальчиком с поэтической натурой. Однако я никогда не писал стихов, даже дневника не вел. Я не испытывал стремления восполнить то, в чем уступал окружающим, какими-либо другими досто-

---

<sup>1</sup> Японская национальная борьба.



инствами, только бы выделиться из толпы. Иными словами, я был слишком высокомерен, чтобы стать человеком искусства. Грезы о владычестве — над людскими судьбами или душами — так и оставались грезами, я палец о палец не ударил, чтобы приступить к их осуществлению.

Никто из людей не в состоянии меня понять — именно это сознание давало мне ощущение исключительности, вот почему во мне и не могло возникнуть желания как-то самовыразиться, сделаться понятным другим. Я верил — мне самой судьбой предназначено не обладать ничем таким, что может быть доступно постороннему взгляду. И одиночество мое росло и разбухало, как откармливаемая на убой свинья.

В моей памяти всплывает один трагический эпизод, случившийся в нашем селении. Казалось бы, он не имел ко мне ни малейшего отношения, однако чувство, что я был им затронут, что я принимал в тех событиях самое непосредственное участие, живо во мне до сих пор.

Столько всякого открылось мне через тот случай — жизнь, страсть, измена, ненависть, любовь и еще многое. Но моя прихотливая память закрывает глаза на то величественное, что несомненно таилось в основе произошедшей трагедии...

Через два дома от дядиного жила красивая девушка. Ее звали Уико. Глаза у нее были большие и ясные-ясные. Держалась она всегда неприступно, — может, оттого, что ее семья считалась в деревне зажиточной. Уико все обожали, просто на руках носили, но чувствовалась в ней какая-то скрытность — трудно было предположить, о чем она думает, оставаясь одна. Ревнивые деревенские сплетницы утверждали, что именно из таких вот получают бесплодные

женщины-ледышки, хотя Уико явно была еще девушкой.

Едва окончив гимназию, Уико добровольно поступила медсестрой в Майдзурский военно-морской госпиталь. Это было не так далеко, и на работу она могла ездить на велосипеде. Выезжать из дому ей приходилось еще затемно, часа за два до того, как просыпались мы, школьники.

Однажды вечером я не мог уснуть, предаваясь мрачным фантазиям о теле Уико, а на исходе ночи выскользнул из своей комнаты, надел гимнастические тапочки и шагнул за дверь, в летние предрастветные сумерки.

В ту ночь я не впервые грезил о ее теле. Мимолетные поначалу мечты преследовали меня все чаще и определенной, и так же определенно стало видеться мне белое и упругое тело Уико, ее благоуханная плоть. Я представлял, как загорятся огнем мои пальцы, коснувшись ее. Представлял пружинящую податливость кожи, аромат цветочной пыльцы.

Я стремительно несся по тропинке. Камни не замедляли мой бег, темнота не закрывала от меня дороги.

Вот тропинка стала шире, она петляла по окраине маленькой деревеньки. Там росла огромная дзельква. Ствол дерева был мокрым от росы. Я спрятался у его подножия и стал дожидаться, когда появится Уико на своем велосипеде.

Я просто ждал, никаких определенных намерений у меня не было. Несся я сюда со всех ног, но теперь, затаившись в густой тени дзельквы, понятия не имел, что делать дальше. Слишком долго существовал я вне всякой связи с внешним миром; именно этим, видимо, следует объяснить странную иллюзию, что до-

статочно мне очертя голову кинуться в этот самый внешний мир, и все сразу станет возможным и доступным.

Комары кусали мне ноги. Из деревушки доносились крики петухов. Я вглядывался в сумрак. Вдали над дорожкой маячило что-то смутное и белое. Вначале мне показалось, что это просто рассвет, но то была Уико.

Она ехала на велосипеде, во мраке светилась зажженная фара. Велосипед беззвучно скользил по дорожке. И тут я выскочил ему наперерез из-за ствола дерева — Уико едва успела нажать на тормоз.

Я словно обратился в камень. Мысли и воля застыли во мне. Нет, мой внутренний мир никак не желал соприкоснуться с миром внешним — тот, неизблемый, окружая меня со всех сторон, существовал сам по себе. Я выбрался из дядиного дома, надел спортивные тапочки, бежал во весь дух по тропинке, прятался за ствол дзельквы, — оказывается, все эти действия не выходили за пределы моего внутреннего «я». И едва различимые в предрассветном полумраке контуры крыш, и черные силуэты деревьев, и темные вершины гор, и даже стоявшая передо мной Уико вдруг непонятным и пугающим образом оказались лишены всякого смысла. Все вокруг, не дожидаясь моего участия, обрело реальность, и эта бессмысленная, неохватная, сумеречная реальность с неведомой мне доселе тяжестью разом обрушилась на меня.

Как всегда, я решил, что только слова могут выволить меня из нелепого положения. Моя всегдашняя ошибка. Вечно, когда необходимо действовать, я думаю только о словах. А слова срываются с моих губ с таким невероятным трудом, что сил на действие уже не остается. Мне казалось, что ослепитель-

ное великолепие действия непременно должно сопровождаться ослепительным величием слова.

Я ничего перед собой не видел. Однако, как мне вспоминается, Уико, вначале напуганная моим неожиданным появлением, увидев, что это я, смотрела только на мой рот, на маленькую темную дыру, грязную, как норка полевой мыши; дыра бессмысленно дергалась и дрожала в темноте. И, увидев, что эта дыра лишена силы, способной связать ее с окружающим миром, Уико успокоилась.

— Ты что! — воскликнула она. — Ну и шутки! Заика чертов!

Голос ее был свеж и уверен, как утренний ветер. Тренькнув звонком, Уико поставила ногу на педаль. Объехала меня стороной, словно камень, лежащий посреди тропы. На дорожке в этот час не было ни души, но Уико, уносясь прочь, насмешливо брэнчала и брэнчала своим звонком.

В тот же вечер мать Уико пришла жаловаться на меня дяде. На следующий день дядя, всегда такой тихий и спокойный, жестоко изругал меня. И я проклял Уико и стал желать ей смерти, а несколько месяцев спустя проклятие мое сбылось. С той поры я твердо верю в силу проклятий.

Я желал смерти Уико, ложась вечером спать и просыпаясь утром. Я молился, чтобы она, свидетель моего позора, раз и навсегда исчезла с лица земли. Да если бы вокруг не было свидетелей, стыду не нашлось бы места на земле! Все люди — свидетели. Не было бы людей, не возникло бы и позора. В тот предрассветный час в облике Уико, где-то по ту сторону ее мерцающих холодным блеском глаз, что изучающе смотрели на мои губы, я разглядел весь этот мир других людей — мир, никогда не оставляющий нас одних,

подсовывающий соучастников и свидетелей наших преступлений. Надо уничтожить всех других людей. Для того чтобы я мог открыто поднять лицо к солнцу, мир должен рухнуть...

Месяца через два после доноса на меня Уико ушла из госпиталя и вернулась насовсем в родительский дом. По деревне поползли самые разные сплетни. А в конце осени произошла та история.

...Никто из деревенских и не подозревал, что в наших местах скрывается беглый матрос. Однажды в сельскую управу пришли жандармы. Их появление не было такой уж редкостью, и никто не обратил на них особого внимания.

Стоял ясный день, какие часто выпадают в конце октября. Я, как обычно, пришел из гимназии, сделал уроки и уже готовился укладываться спать. Прежде чем погасить лампу, я случайно взглянул на улицу и замер: по ней собачьей сворой бежала толпа людей. Я бросился вниз по лестнице. У дверей дома стоял один из моих одноклассников с круглыми от возбуждения глазами. Он крикнул нам — мне и разбуженным шумом дяде и тете:

— Жандармы схватили Уико! Бежим смотреть!

Сунув ноги в гэта<sup>1</sup>, я помчался за ним. Ярко светила луна, легкие, прозрачные тени лежали на убранных рисовых полях.

Под деревьями копошились темные фигуры. Уико, одетая в черное платье, сидела прямо на земле. Лицо ее выделялось в темноте белым пятном. Рядом стояли ее родители и несколько жандармов. Один из них сердито кричал, размахивая каким-то узелком. Отец

---

<sup>1</sup> Деревянная обувь.

Уико беспомощно вертел головой, то прося прощения у жандармов, то обрушиваясь с упреками на дочь. Мать рыдала, закрыв лицо руками.

Мы наблюдали эту сцену с соседнего участка рисового поля. Зрителей становилось все больше, мы молча стояли, касаясь друг друга плечами, и смотрели. Маленькая, словно выжатая, луна сияла над нашими головами.

Одноклассник шепотом рассказал мне, как было дело.

Жандармы ждали в засаде, когда Уико, прихватив узелок с едой, шла по направлению к соседнему поселку. Еда, вне всякого сомнения, предназначалась для прячущегося дезертира. Оказывается, Уико сошла с ним, еще работая в госпитале, забеременела и была за это отчислена из медсестер. Жандармы требовали, чтобы Уико отвела их туда, где прячется дезертир, но та упорно молчала и не трогалась с места...

Я неотрывно смотрел на белое лицо Уико. Вид у нее был такой, словно она лишилась рассудка. Лицо, освещенное луной, застыло неподвижной маской.

Никогда еще мне не приходилось видеть выражения такого отречения от всего и вся. Я всегда считал, что мир отторгает мое лицо, но лицо Уико — оно само отринуло весь мир. Лунный свет безжалостно лился на ее лоб, глаза, нос и щеки, но лицо оставалось неподвижным, свет просто как бы стекал по нему. Если бы Уико хоть чуть-чуть дрогнула ресницами или шевельнула губами, мир, который она пыталась отринуть, принял бы это движение за проявление слабости и раздавил бы ее.

Боясь вздохнуть, смотрел я на Уико. Ее лицо не имело ни прошлого, ни будущего, оно замкнулось

в молчании. Нечто подобное можно иногда увидеть на срезе только что срубленного дерева. Древесина еще свежа и полна жизни, но рост ее уже оборвался; ее волокна, сокрытые прежде, теперь выставлены под солнце и дождь — каким странным выглядит это прекрасное лицо дерева, подставленное ударам чуждого ему мира. Лицо, явившееся этому миру только для того, чтобы его отринуть...

Никогда еще черты Уико не были так хороши, и мне подумалось: вряд ли я когда-нибудь увижу нечто, столь же прекрасное. Но этот восхитительный миг оказался кратким. Лицо Уико вдруг переменялось.

Она поднялась на ноги. Мне почудилось, что Уико рассмеялась. Я не мог ошибиться — в лунном свете блеснули ее зубы. Больше мне нечего сказать о происшедшей с этим лицом перемене, потому что Уико отвернулась от лунного света и исчезла в густой тени деревьев.

Жаль, что я так и не разглядел толком, как менялся облик девушки в момент, когда она решилась на предательство. Если бы только я это видел, быть может, во мне родилось бы прощение — прощение человека и всех его мерзостей.

Уико указала рукой на гору Кахара.

— Он прячется в храме Конго! — закричал кто-то из жандармов.

И тут во мне возникло шальное, радостное возбуждение, как у ребенка в день праздника. Жандармы разделились на несколько групп и окружили горный храм со всех сторон. Для этого им понадобилась помощь жителей деревни. Снедаемый чувством мстительного любопытства, я присоединился к мальчиш-

кам, которые пошли с первой группой, — ее вела сама Уико. Меня поразило, до чего же твердо ступала она по залитой лунным светом тропе; следом за ней шагали жандармы.

Храм Конго был одной из местных достопримечательностей. Он притулился под горой, минутах в пятнадцати ходьбы от поселка. Славился храм древним деревом, посаженным некогда самим принцем Такаока<sup>1</sup>, а также чудесной трехъярусной пагодой, которую, по преданию, возвел прославленный Дзингоро Хидари<sup>2</sup>. Летом я часто плескался неподалеку отсюда, у водопада под горой.

Глинобитная стена, окружавшая главное здание храма, тянулась вдоль берега ручья. Ее обветшалый гребень порос мискантом, белые стебли которого сияли, подсвеченные луной. Перед воротами пышно цвели камелии.

Мы молча шагали по берегу. Здание храма Конго было над нами. Справа, за бревенчатым мостиком, возвышалась трехъярусная пагода, слева шумела красной осенней листвой роща, а за деревьями начиналась знаменитая лестница из ста пяти ступеней, покрытых мхом. Вытесанные из известняка ступени были скользкими.

Прежде чем шагнуть на мостик, главный жандарм обернулся и взмахом руки велел нам остановиться. По преданию, некогда на этом месте стояли две статуи стражей врат, созданные знаменитыми ваятелями Ункэем и Танкэем. Отсюда начинались владения храма.

---

<sup>1</sup> *Принц Такаока* (799–865) — первый японец, совершивший путешествие в Индию и Юго-Восточную Азию.

<sup>2</sup> *Дзингоро Хидари* (1594–1651) — зодчий и скульптор.



Мы замерли, затаив дыхание. Жандарм поманил Уико. Она одна перешла через мостик, и, выждав немного, мы двинулись следом. Нижняя часть лестницы была в тени, но выше ступени ярко освещались луной. Мы все спрятались в зарослях. Красные листья казались черными.

Лестница поднималась к главному зданию храма, влево и наискосок от него шла крытая галерея, ведущая к пристройке, — в таких обычно устраивают ритуальные танцы кагура. Пристройка парила над обрывом и, подобно храму Киёмидзу в Киото, опиралась на бесчисленные деревянные сваи. И сам храм, и пристройка, и бревна свай, омытые бесчисленными дождями и высушенные ветрами, белели во мраке, словно кости скелета. Осенним днем гармония пышной красной листвы и белых храмовых построек была безупречной, но теперь, ночью, высвеченный луной белый скелет храма выглядел чарующе-зловещим.

Дезертир, видимо, прятался где-то там, наверху. Жандармы собирались использовать Уико, чтобы выманить матроса из его убежища.

Мы, свидетели, стараясь не дышать, затаились в тени деревьев. Октябрьская ночь была холодна, но мои щеки пылали огнем.

Уико стала подниматься по ступеням одна. В ее фигуре было что-то безумное и одновременно горделивое... Ослепительно вспыхивал между черными волосами и черным платьем ее белоснежный профиль.

У меня хмельно закружилась голова — до того кристально прекрасной была измена Уико в обрамлении луны, звезд, ночных облаков, пятен серебристого света, парящих над землей храмовых зданий и

гор, оцетинившихся острыми верхушками кедров. Уико имела право, так гордо расправив плечи, подниматься одна по этой белой лестнице — ее измена была одной природы со звездами, луной и кедрами. Теперь она стала одной из нас и принимала весь этот мир. Уико поднималась по лестнице как представитель нас, остальных людей. И я, задыхаясь от волнения, подумал: «Совершив предательство, она приняла и меня тоже. Теперь она принадлежит и мне».

Каждое событие запечатлевается нашей памятью лишь до определенной черты. Я так и вижу перед собой, как Уико поднимается по ста пяти замшелым ступеням. Подъем ее свершается целую вечность.

Но потом она опять переменялась, вновь стала другим человеком. Поднявшись по лестнице на самый верх, Уико совершила новое предательство — теперь она предала всех нас, остальных, и, главное, меня. Эта новая Уико больше не отрицала окружающий мир, но и не принимала его. Она опустилась до уровня обычной страсти, превратилась просто в женщину, отдавшую всю себя одному-единственному мужчине.

Вот почему все, что произошло дальше, вспоминается мне смутно и размыто, словно изображение на старой литографии... Уико прошла по галерее и крикнула что-то во мрак храма. Оттуда появился мужчина. Уико заговорила с ним, мужчина обернулся к лестнице, выхватил пистолет и стал стрелять. Жандармы из кустов открыли ответный огонь. Уико бросилась к галерее, но мужчина вскинул руку с пистолетом и несколько раз выстрелил ей в спину. Уико упала. Тогда мужчина приставил дуло к виску, и прогремел еще один выстрел...

Сначала жандармы, за ними все остальные бросились вверх по каменным ступенькам к двум трупам, только я не трогался с места, по-прежнему притаившись в тени осенней листвы.

Над моей головой белели перекрещенные опоры храмовой пристройки. Грохот шагов по деревянному настилу галереи долетал до меня, приглушенный расстоянием. Скользящие лучи карманных фонариков сквозь деревянные перила то и дело пробегали по ветвям деревьев.

Я не мог отделаться от ощущения, что все давным-давно уже кончилось, все осталось в далеком прошлом. Людей с их толстокожестью можно прогнать, только когда прольется кровь. Но кровь проливается уже после того, как трагедия свершилась. На меня накатила дремота.

Проснувшись, я обнаружил, что остался в роще один, кругом щебетали птицы, стволы деревьев были освещены лучами утреннего солнца. Солнце высвечивало снизу белые кости храмовых построек, и храм казался возрожденным. Гордо и спокойно он парил над покрытой красной листвой долиной.

Я поднялся, дрожа от холода, и стал растирать зачоченевшее тело. От минувшей ночи ничего во мне не осталось, кроме озноба. Озноб — и больше ничего.

\* \* \*

На следующий год, в весенние каникулы, приехал отец, из-под его рясы выглядывал обычный гражданский китель, в каких все ходили во время войны. Он сказал, что хочет взять меня на несколько дней в Киото. У отца были больные легкие, и я поразился тому, как он сдал. И дядя, и дядина жена пытались

отговорить его от этой поездки, но отец был непоколебим. Только потом я понял, что он, зная, как недолго осталось ему жить, хотел представить меня настоятелю Золотого Храма.

Я, конечно, давно мечтал увидеть Храм собственными глазами, но отправляться в путешествие с отцом, который, сколько бы он ни храбрился, был совсем плох, не очень-то хотелось. По мере того как свидание с пока еще неизвестным мне Храмом приближалось, я испытывал все больше колебаний и сомнений. Золотой Храм непременно должен был оказаться прекрасен. Я чувствовал, как велика ставка, ставка не на действительную красоту Храма, а на способность моей души вообразить прекрасное.

Все, что могло быть известно подростку моего возраста о Золотом Храме, я, разумеется, знал. В случайно попавшей мне в руки книге по искусству история Храма излагалась следующим образом.

Сёгун Ёсимицу Асикага (1358–1408) получил в дар от рода Сайондзи усадьбу Китаяма и построил на этом земельном участке обширный дворцовый ансамбль. Архитектурный комплекс состоял из построек религиозного назначения: Усыпальницы, Храма Священного Огня, Зала Покаяния, Храма Очищения Водой, а также ряда светских зданий: Главного Дворца, Дома придворных, Зала совещаний, Дворца Небесного Зеркала, Башни Северной Звезды, дворца «Родник», Усадьбы Любования Снегом и прочих сооружений. Самые большие средства были затрачены на строительство Усыпальницы, которую позднее стали называть Кинкакудзи — «Золотой Храм». Теперь уже невозможно с точностью установить, когда имен-

но возникло это название, однако не ранее междоусобной войны 1467–1477 годов. А в эпоху Буммэй (1469–1487) новое название Усыпальницы уже было широко распространено.

Кинкакудзи — это трехэтажная башенка, стоящая над широким Зеркальным прудом, построена она, видимо, около 1398 года (5-й год эпохи Оэй). Первый и второй ярусы выдержаны в классическом усадебном стиле синдэн-дзукури, здесь применяются ситомидо — двери, поднимающиеся кверху. Третий ярус Золотого Храма представляет собой квадратное помещение со стороны в три кэна<sup>1</sup>, оформленное в строгом соответствии с канонами дзэн-буддизма. В зал ведет деревянная дверь, справа и слева расположены оконца. Четырехскатная крыша здания, покрытая корой кипариса, выдержана в стиле хогё-дзукури и украшена фигурой феникса из позолоченной меди. Монотонность композиции храма нарушает Рыбачий павильон с двускатной крышей, выходящий к самому пруду. В целом Кинкакудзи, с его плавным наклоном крыши и легкой, изысканной структурой деревянных стен, является шедевром гармонии в садовой архитектуре, соединившей элементы усадебного и буддийского зодчества. Золотой Храм дает нам представление о вкусах и характере сёгуна Ёсимицу, приверженца классической придворной архитектуры, и прекрасно передает атмосферу той далекой эпохи.

Согласно завещанию Ёсимицу, после его смерти дворцовый ансамбль Китаяма был передан во владение секте Дзэн и стал называться — храм

---

<sup>1</sup> Кэн — 1,81 м.

Рокуондзи. На протяжении веков часть зданий разрушилась, часть разобрали и перенесли на новое место, лишь Золотой Храм каким-то чудом уцелел в первоизданном виде...

Словно золотой месяц в черном ночном небе, храм Кинкакудзи символизировал мрачную эпоху, в которую он был построен. В моем воображении Храм и не мог существовать иначе, без черного фона сгустившейся вокруг него тьмы. Стройные, тонкие колонны, подсвеченные нежным сиянием изнутри, тянулись во мраке вверх гордо и спокойно. С какими бы речами ни обращались люди к Храму, он, прекрасный, такой хрупкий, хранил безмолвие — он должен был выстоять перед окружающей его чернотой.

И еще я часто думал о парящем над крышей фениксе, которому столько веков были нипочем и дожди, и злые ветры. Эта таинственная золотистая птица, ни разу не взмахнувшая крылом, ни разу не встретившая криком рассвет, давно забыла о том, что она — птица. Но ошибется тот, кто решит, что феникс навсегда прикован к крыше. Как иные птицы скользят по широкому небу, так эта, расправив сияющие крылья, вершит вечный полет по просторам времени. Встречный поток лет ударяется о крылья феникса и уносится вдаль, прочь. Птице не нужно никуда лететь — достаточно просто вытаращить глаза, расставить пошире крылья, развернуть перья хвоста, покрепче упереться сильными позолоченными ногами, и она уже в полете.

Думая о птице, я сравнивал Золотой Храм с чудесным кораблем, приплывшим ко мне через океан времени. «Легкая, воздушная конструкция», о которой говорилось все в той же книге, тоже вызывала

у меня ассоциацию с парусником, а пруд, в котором отражался этот замысловатый трехъярусный корабль, казался мне символом бескрайних морей. Храм приплыл из дальнего края темной, огромной ночи. И плаванию его не было конца. Днем все выглядело, наверное, иначе: корабль бросал якорь и позволял бесчисленным зевакам бродить по своим палубам, но ночью — ночью Храм черпал из сгущающейся тьмы силы для нового плавания, раздувал, как парус, крышу и отправлялся в путь.

Не будет преувеличением сказать, что первая сложная проблема, с которой мне пришлось столкнуться в жизни, — это проблема прекрасного. Мой отец был простым деревенским священником, не умевшим красиво говорить, и я усвоил от него только одно: «На всем белом свете нет ничего прекраснее Золотого Храма». Так я узнал, что где-то, в неведомом пока мне мире Прекрасное уже существует, — и эта мысль отдавалась в моей душе обидой и беспокойством. Если Прекрасное есть и есть где-то там, далеко отсюда, значит я от него отдален, значит меня туда не пускают?

Золотой Храм не был для меня абстрактным образом. Горы скрывали его от моего взора, но при желании я мог перейти через них и увидеть Храм воочию. Выходит, Прекрасное можно разглядеть, можно даже потрогать руками. Я знал и верил, что где-то там стоит Золотой Храм, неизменный и вечный перед лицом сменяющихся друг друга времен.

Подчас Кинкакудзи казался мне миниатюрной золотой вещицей, которую можно взять в ладони. Иногда же Храм становился огромным и вырастал до самого неба. Никогда бы я не согласился с утверждением, гласящим, будто прекрасное не может быть ни

слишком большим, ни слишком маленьким, а должно быть умеренным. Когда летом я видел крошечный цветок, влажный от утренней росы и окруженный сияющим ореолом, я думал: «Он прекрасен, как Золотой Храм». Когда же над горами собирались грозовые тучи — черные и мрачные, но с горящей золотой каймой, — в их мощном величии я тоже видел Храм. И, встретив красивое лицо, я мысленно говорил: «Этот человек прекрасен, как Золотой Храм».

Поездка с отцом получилась невеселой. Железная дорога шла от Майдзуру в Киото, минуя поселки и небольшие городишки, поезд то и дело останавливался на маленьких станциях. Вагон был старым и грязным; когда поезд ехал туннелем, дым от паровоза через окна попадал внутрь, и отец все время надрывался от кашля.

Большинство пассажиров так или иначе были связаны с флотом. Вагон третьего класса был битком набит матросами, унтер-офицерами, рабочими с военных заводов, семьями, ездившими в Майдзуру навестить кого-нибудь из родных.

Я смотрел в окно на пасмурное весеннее небо. Поглядывал на отцовскую рясу, накинутую поверх гражданского кителя, на сверкающие золотыми пуговицами мундиры молодых здоровяков-боцманов. Мне казалось, что я один из них. Вот достигну призывного возраста и тоже стану военным. Только смогу ли я отдаваться службе так же рьяно, как эти розовощекие моряки? Ведь я принадлежу к их миру лишь наполовину. В моей юной уродливой голове шевелились мысли такого рода: мир смерти, принадлежащий отцу, и мир жизни, в котором существуют эти молодые парни, благодаря войне соединены



теперь воедино. Может быть, я — связующее звено между жизнью и смертью? Если мне суждено погибнуть на войне, конец все равно один, какую бы дорогу я теперь ни избрал.

Все мое отрочество окрашено в тусклые, сумрачные тона. Я страшился черного мира тьмы, но и белый свет дня был мне чужд.

Слушая беспрестанное покашливание отца, я смотрел в окно, на реку Ходзугава. Вода была тошнотворно синей, словно медный купорос, с которым мы ставили опыты на уроках химии. Каждый раз, выезжая из очередного туннеля, я видел ультрамариновую ленту реки, окруженную скалами, то вдали, то совсем рядом — горы крутили реку, словно на гончарном круге.

Отец застенчиво развернул сверток с завтраком — колобками из белого очищенного риса.

— Это не с черного рынка, — громко сказал он, чтобы слышали соседи, — прихожане принесли, так что ешь спокойно, сынок.

Колобки были совсем небольшие, но отец с трудом осилил один из них.

Мне все не верилось, что этот дряхлый, черный от копоти поезд едет в древнюю столицу. Я не мог отделаться от ощущения, что паровоз мчится к станции, название которой Смерть. И дым, что лез в окна вагона каждый раз, когда мы попадали в туннель, казался мне чадом погребального костра...

Когда я оказался перед воротами храма Рокуондзи, сердце мое затрепетало. Еще несколько мгновений — и я увижу чудо, прекраснее которого на свете нет.

Солнце начинало клониться к закату, горы окутала дымка. Вместе с нами в храмовые ворота вошли